

НАЧИН

Последний полёт

Здесь не было даже плохонького зеленца. Деревянному городку досталась лишь оттепельная поляна у края болот. Если смотреть из-под облаков, крепостца была тёмным пятнышком на краю бедовника, у подножия бесконечных дымов. Западный ветер приглаживал летящие кудлы пара, не давал сразу взмыть вверх. Па́облако пучилось, рвалось, закручивалось исполинской волной — и в отдалении всё равно достигало туч, колыхаясь одной сплошной занавесью от небес до земли. Край света, предел, отведённый смертному человеку!

Люди помнили: на самом деле мир здесь не кончался. По ту сторону болот до сих пор стояли леса. Ещё дальше высилось кольцо острых гор, именуемое Венцом. Во времена, когда строилась крепостца, горы ещё бывало видно в вёдреную погоду. Однако те дни давно стали баснословными, сблизившись в понимании молодых со днями Йелленовых войн. А Дымная Стена — вот она. Близкая, вещественная. Не рукой тронуть, так стрелой дострелить.

Если спуститься, встать перед воротами — крепостца даже обретала величие. Не утопленная в снежную глубь, как иные северные зеленцы. С крепкими бревенчатыми пряслами, с высоким кровом, уберегающим двор. Углом против тока обычных ветров, ухищенная льдом и снегом, чтобы сохранялось тепло. С воротами за выступом стены, чтобы не закидывало в буран...

И даже сизые хвосты из дровяных печей, грязноватые и ничтожные против туманной Стены, вблизи глядели столпами незыблемого уюта.

...Створки ворот дрогнули, завизжали промороженным деревом, отделились одна от другой. Роняя иней, начали раскрываться.

Первыми, живо вздевая на ноги лапки, выскочили скороходы. Иные, белобородые, помнили, как некогда поспешали стогами Фойрега: дорогу красному боярину Кайдену! Теперь кричать «поди-примись» было без толку. Подлый народишко весь остался в дому, а позёмка, влекущая в горнило Стены бесконечное дымное покрывало, не оробеет, на стороны не раздастся.

Ворота разъехались чуть шире, выпустили ещё лыжников. Эти были суровые мужи, поджарые, седоусые. В одинаковых кафтанах, нелепых поверх толстых кожухов. По алому сукну на каждой груди золотым шнуром — óзнак: лось, припавший на колено, стрелы веером.

Всё вместе гляделось охотничьим выездом андархского волостеля. Только заблудившимся во времени на пятнадцать годков. У иных лыжников были на руках сокольничьи рукавицы. Бархатные, с шитьём и кистями. Все — пустые. Нескончаемая зима угомонила боярскую кречатню, прежде шумную, изобильную. Не стало ни ловчих птиц, ни подсокольных собак. Лишь кафтаны да порожные рукавицы как знамёна проигранных битв.

Наконец с громкой жалобой отвыкших верей ворота разошлись настезь. Внешние, за ними внутренние, открывая зеленоватые огоньки в потёмках под кровом двора. Такое в последние времена бывало нечасто. Дрова добывались всё тяжелей, люди отчаянно сберегали тепло. Вот только ныне бережливость помалкивала.

Двое молодчиков, юноша и подросток, вывели осёдланного оботура со всадником. Владыка Уркараха сидел прямой, гордый. Глаза, подёрнутые как будто ледком с кровавыми жилками, смотрели за небоскат. У правого бедра

узорный кожаный тул, у левого — снаряжённый лук в налучи. Сильная рука легко несла сокола. Последнего на кречатне.

Это была царская птица. Белого, бесскверного, чуть крапчатого пера. Не самец-челиг какой, лёгкий, маленький, для женской руки. Боярское запястье попирала истая соколица. Которую, уважая величие и мощь, охотники собственнно соколом и зовут.

На клубучке птицы лежал венец маленьких самоцветов, зелёных, голубых. В прежней Андархайне с белыми кречетами охотились лишь праведные. Остальным было заповедано. Даже красным боярам вроде Гволкхмэя Кайдэна. Некогда могучий, непобедимый пернатый ловец, как и люди, оставил славные времена прошлому. Сколько лет его, сбивавшего головы лебедям, напускали на жалких уток, пытавшихся удрать в знакомый хлевок? Последние несколько дней сокольники трепетали. Хозяйский любимец вовсе померк, не радовался свежему мясу, полётам на должики. Взъерошились потускневшие перья, одна ёмь превратилась в сомкнутый кулачок... Гордый сокол, краса и роскошь царских охот, изготовился воспарить на ту сторону неба.

Птице, привыкшей дремать в тихом полумраке кречатни, не нравился ледяной ветер. Она хрипло вскрикивала, пригибалась на рукавице.

Выпустив боярина, ворота спешно замкнулись. Скутала двор, не потратив лишней крохи тепла.

Странный задался выезд... Ни шума, ни лая, ни весёлого клича. Люди переговаривались шёпотом, боясь потревожить хозяина.

Потоптавшись, шествие потянулось на бедовник.

Пустошь раскинулась сколько достигал глаз, окоём прятала морозная мгла. Раньше здесь были каменные холмы, поросшие лесом. Беда их освежевала, содрав зелёную шкуру. Постепенно в распадках скопился снег... Теперь впереди лежала равнина, гладкая, как новенький холст.

Только этот холст всё время двигался, струился навстречу охотникам, с шорохом и тихим посвистом обтекал ноги...

Боярин закрыл сокола полой мехового плаща, птица успокоилась, благодарно притихла.

Отдалившись от крепости на версту, люди остановились. Вот здесь уже воцарилась мёртвая тишина, смолкли все шёпоты. Сокольники тоскливо топтались, один за другим стаскивали ушанки. Старший сын боярина стоял крепко, развернув плечи. Привык уже быть меньшедомком, вторым хозяином. Младший, прижитый от чернавки, прятал хлюпающий нос в высоком меховом воротнике.

Гволкхмэй Кайдэн высвободил сокола из-под полы. Птица приподняла крылья, ища опоры в ветровых струях. Она знала, что будет дальше. Сейчас рука сдёрнет наглазник, возвращая миру краски и свет. Резко бросит в воздух, указуя добычу...

Вместо привычного движения боярин вдруг заговорил.

— Сиживал ты на руке царевича, славного Гайдияра, — тяжело и скрипуче прозвучал его голос. — После мне вверился. Душу над землёй возносил, красной дичи избивая без счёта... Нажился ли на белом свете, красавец мой несказанный?

Сыновья смотрели во все глаза. Младший щурился на ветру, смагивал слёзы, но взгляда не отводил.

Сокол неловко переступал, ждал напуска. В хвостовых перьях звякали бубенцы.

— Желал я, чтя заповедь царскую, тебя праведному вернуть, да людское зло помешало. Ответь, в довольстве ли весёлом у меня гостевал? Знал ли выбережку, знал ли холю и волю?

— Кхеек, — хрипло ответил сокол. — Кхеек, кхеек...

— Кивнул, батюшка, — восторженно воскликнул младший.

Охотники переглядывались, творили священные знаки.

— Кивнул, да не на то, — недовольно буркнул первак. — Изволишь ли дале вопрошать, батюшка?

Птица подпрыгивала, кричала. Просила укрытия либо полёта.

Гволкхмэй Кайден медленно произнёс:

— Сокол мой красный да ясный, нажился ли, говорю, на белом свете сполна?

— Кивнул! — подтвердил теперь уже меньшедомок.

— Кивнул, — шмыгнул носом пригильной.

— Кивнул, — эхом отозвались сокольники.

Боярин медленно наклонил голову. Вот теперь всё было решено.

— Лети же, царский ловец, — проговорил он, как прежде, размеренно. — Лети на руку доброму царю Аодху. Поведай сгинувшему государю о непреклонной верности нашей. Как я ему служил, так, милостью святого Огня, мои дети молодому Эрелису служить станут...

Опытным движением сорвал с птичьей головы клобучок. И огромным размахом, каким-то неистовым, бешеным против обычного, устремил сокола в небеса.

Во всю ширь пахнули могучие кречетиные крылья, плеснули выпущенные опутенки. Птица пошла вверх отвесно, прямо дерясь в высоту, не кружа, как иные. Соколичье тихо молились. Боярин Гволкхмэй бросил в снег бархатную рукавицу. Не спеша достал из налучи лук. Тщательно устроил на тетиве стрелу, вынутую из колчана. Не охотничью томарку, какой быют пернатую дичь, — почётную боевую. С красным оперением, с гранёным железком, способным раздвинуть звенья кольчуги, найти щёлочку в дощатой броне.

Ушко стрелы мерцало, как живой уголёк, наконечник был вызолочен.

Старший боярич вскинул пятерню, снова прекратив все голоса.

Хозяин крепости, запрокинув голову, смотрел вверх. Ветер сдувал слёзы с тусклых глаз, низал бисером на седых волосах.

Звон бубенчика всё слабей доносился сверху, но слух Гволкхмэя Кайдена был отточен годами лазоревой слепоты. Левая рука неспешно воздела лук. Правая в двупалой перчатке натянула тетиву... и спустила её, как только кречет, ища добычи, ненадолго замер под облаками.

Тетива прогудела погребальной струной. Все глаза метнулись за красными перьями, но куда! Лук боярина обладал недюжинной мощью. Стрела ушла и пропала, как вовсе не бывало её.

На громадном бедовнике стало тихо и бесприютно. Лишь текли, шуршали, чуть слышно беседовали нескончаемые белые струи.

Потом сверху явилась тёмная точка.

Она близилась, росла, кувыркалась, ветер перебирал обмякшие крылья, силился опустить наземь бережно, воздать последнюю почесть. Не получилось. Гулкий удар отдался по крепкому насту. Старейший из сокольников дрогнул, прикрыл глаза рукавицей. Мрачно заревел оботур.

Боярин никогда не промахивался.

Сыновья нога в ногу рванулись к павшему кречету. Закутали птицу в богато расшитое полотенце. На белой груди почти не было крови. Гволкхмэй Кайден молча принял свёрток, покинутый биением жизни. Спрятал под плащом, придерживая рукой.

Меньшедомок извлёк плоскую сулею, наполнил серебряную чару. Подал отцу. Боярин омочил палец, стряхнул первую каплю вверх, вторую на снег, третью через плечо. Сделал щедрый глоток. Вернул чарку сыну. Тот испил, передал брату...

Охота надевала шапки, оттирала носы и уши, заворачивала домой. Старший с младшим вновь повели оботура.

Боевая стрела, окончившая соколиный лёт, была драгоценной старой работы. Отроки погода искали её, не нашли и не удивились тому. Должно быть, она так и мчалась сквозь тучи, ведя гордую кречатью душу на ту сторону неба.

ДОЛЯ ПЕРВАЯ

Студный день

Под толстым серым куполом шегардайского зеленца утро с вечером не всегда различимы. Поди разбери, откуда сочится чуть розовеющий свет. С Воркуна восстаёт? Клонится к Последним воротам?..

Верешко, зевая, привычно затворил калитку, свернул за угол... Тут же пришлось плотней стягивать у горла ворот заплатника. По улице Третьих Кнутов всегда несло стылým ветром, но сегодня холод не просто лез под одежду — пронизывал ледяными ножами. Верешко даже застонал про себя. Вот на что было подряжаться ночевщиком именно в «Барана», когда три из четырёх городских кружал находились куда ближе к дому? «Пыж» — примерно на полдороге. «Ружа» — всего-то Лобок-остров перебежать...

Сейчас уже отдыхал бы в тепле, под журчание пустых разговоров черёдниц. Не бежал бы в рань-перерань безлюдными стогами, оскальзываясь на заледенелых торцах.

Ох! Даже Малюта, нерадивый отец Верешка, вечерами напивался не у себя в куту, а на другом конце города, в «Зелёном пыже».

Дыхание рвалось густым паром.

Срезая путь, у Кошачьего моста Верешко свернул на тропинку, спускавшуюся к самой воде. По венцу берега часто выпадал иней, но внизу, где дышала вода, под ногами всегда хлюпало... сегодня жухлые стебельки щетинились белым, поршеньки оставляли чёрные следы.

Кошачий мост едва не прозвали Злым. За то, что упрямо проседал при постройке. Наконец строители якобы принесли в жертву кошку, драгоценную в городе, одержимом крысами и мышами... и тогда под первыми гружёными телегами ряжи лишь скрипнули. Знатоки шегардайских старин дорожили этой басней, но Верешку была по сердцу другая. О молодом мостнике, что нырнул за котёнком, барахтавшимся в холодной воде.

С берега, поросшего чахлым кустарником, был хорошо виден испод моста. Там вечно устраивали ночлег городские непутки, и что за кошачьи драки приходилось раскидывать страже!.. Сейчас у береговых устоев было тихо и пусто. Ни дрянных кущей, ни вяло бранящихся, по-утреннему неприбранных женщин. Черёдники строгости набрались? Радибор в съезжую приплатил, чтоб согнали шумных жиличек?

Всего один рогожный полог перекрывал жилую пещерку. Вот внутри завозились, показалась рука...

Справа, где берег венчал добротный купеческий тын, послышался глухой рык. Верешко вскинул голову. Дворовый кобель, знавший его шаги, давно уже не гневался на раннего пешехода, так с чего бы?..

У забора стояла незнакомая уличная сука. Вздрыбленная серая грива, взгляд лютый: не подходи!

Во дворе шаркнули тупые когти, звякнула по камням цепь. Кобель что-то пробурчал, но не грозно — умильно. Сука фыркнула, облизнулась, отвела взгляд. Верешко всё же не посмел её миновать. Осторожно попятился, взбежал на мост, пустился длинной дорогой.

...Ночью блудящую женщину посетил знакомый горько-сладостный сон. Она сидела у тёплого печного бока, держала на коленях сыночка. Рядом вершилась тихая домашняя жизнь, появлялись родители, дочь, слуги... Она

смотрела на круглое личико в пеленах, не могла насмотреться. Она не помнила родов, память зияла дырой, но какое это имело значение? Всё было так хорошо...

Печной бок вдруг перестал греть, осыпался сырым каменным крошечком. Женщина вздрогнула, проснулась.

— Мама, не спи, — теребила дочь. — Уже Верешко пробежал, сейчас черёдники пойдут, гнать станут... Вставай, нынче день добрый...

Сон разлетелся дымными клочьями. Не соберутся, не овеют зыбким теплом. Руки у доченьки были совсем детские, прозрачные, в цыпках. Зато растрепавшаяся коса — густая, длинная, залог будущей красоты...

...Краса, горе девичье! Непутка вскинулась, обняла девочку с таким яростным отчаянием, словно ту отнимали прямо сейчас.

Вчера ей предложили продать дочь.

«Я бы подучил обхождению, а там и дом хороший найдётся. — Хобот вытер руки о кружальный столешник. — Я таких, как твоя, уже немало пристроил. Раньше бабы к Опалёнихе бегали, теперь все деток хотят. Заплачу щедро, не пожалеешь...»

«Ты о чём?» — похолодела непутка.

«О том, дура, что красе девьей холя нужна. Спасибо лучше скажи. Заберу с хлеба долой, хлеб тебе, знаю, трудом нелёгким даётся...»

Кружало содрогнулось от хохота. Все знали, каков был тот труд, чего ради она прихорашивалась в сених, наталкивала тряпье под рубаху на груди и на бёдрах.

«Да ты...»

«Сам видел: молодой Радиборович вслед облизывался. Не углядишь, сжуёт да и выплюнет, поди правду сыщи...»

Женщина не помнила, как выскочила из «Ружи», потом вешала рогожку под Кошачьим мостом. В ушах гудели пьяные голоса:

«Нешто ждёт, что зассы́ха её в боярыни выйдет?»

«От доброго кореня, ха-ха, добрая отрасль!»

«Куда мать, туда и дитя...»

...Непутка посидела немного, потом медленно поднялась. Старая, разбитая в неполные тридцать. Спустилась к берегу. Расширив подол, исправила утреннюю нужду.

Прищурилась, заметила на ерике прозрачный ледок.

Нутро отзывалось глухой болью, мир был чёрным и серым. Даст ли новый день еду и тепло?

За добро, явленное без меры, следует неустанно благодарить. А то приноровишься к дармовому благу, ввадишься числить его каждодневным и вечным — тут же лишишься всего.

Чуть не всякий торговый день с Привоз-острова долетал шепоток, расползался сизым угаром, вещая о страшном. О том, что в дикоземьях Левобережья погасла ещё одна искорка. Уступил, сдался стуже очередной зеленец.

— Слышь, желанный, а люди? Люди-то?

И камень падал с души, когда в ответ слышалось:

— А что им? К соседям перебежали, захребетниками живут. Своим кипунам ленились молитвами порадеть, чужие хвалят теперь!

Порой добавлялись известия о стариках, отказавшихся обременять молодых:

— Благословили детей уводить. С тем остались...

Тут задумаешься, не купить ли тележку. Чтоб в случае чего и отца свезла, и что-нибудь из домашнего скарба.

«Какую тележку! — обрывал себя Верешко, редко выходивший за стену. — Готовить, так саночки...»

...Только не вырчат саночки. Вот как всё будет:

— А нашли их, желанные, на полдороге. Мужья жён обнявши, дети малые к подолам приткнувшись...

Улица Третьих Кнутов скоро вывела Верешка на изволок. Отсюда уже был виден Торжный остров в опрокинутом венце туманных столпов.

Стоило бросить взгляд, и сделалось холодней прежнего. Слишком густой пар от дыхания Верешку не привиделся.

И забереги на протоке не показались.

Там, где срединный и самый мощный городской зеленый границил с соседними, слабело тепло, и вниз ручьями протекал холод. Обычно он рассеивался, не достигая земли. Курился обтрёпанными рукавами. Моросил дождеком. Уличные певцы называли эти хоботы обломанными зубами мороза. Тщатся, мол, прокусить, ан не могут!..

...Ох, сглазили песнотворцы! Сегодня осадные башни зимы упирались в твердь плотно и основательно. Домов не видно было во мгле, по улицам расплзались белые клубы.

Клыки зимы, всегда грозившие городу, достигли и впились. Сжимались, поигрывая...

В прошлую зиму такое видели всего один раз. В эту, получается, уже четвёртый.

Один из белых клыков накрыл кончанскую вечерую площадь прямо на пути Верешка. Сын валяльщика стал озираться, прикидывая обход. Потом заметил людей, которых не напугал холод.

Жрецы вынесли из храмов знамёна, хранимые для праздничных шествий, и совершали молитвенный ход. Заклинали стужу Высшими Именами. Не позволяли наводнить улицы, захватить город.

Бились там, где бессильно никли мечи и стрелы мирян.

Верешко даже приостановился. С изволока было далеко видно и слышно. Из храма Огня несли светочи, и не подлежало сомнению, что первым шагал Твердила, старейшина кузнецов. В молельне Морского Хозяина гудели ревуны; храм стоял на сваях, гул шёл словно со дна. Из обители Внуков Неба долетало пение земляных дудок, звавших на помощь тёплые ветры.

А на вечевой площади Лобка заслоном встали мораничи. Шествие возглавлял молоденький посвящённый, совсем недавно подававший облачения старшим жрецам. В своей мирской семье он был вторым сыном, отчего, сложив прежнее рекло, до сих пор звался Другоней.

*В час боренья, когда безнадёжны труды
И враждебная сила нам застит пути,
Материнским платком ограда от беды,
Правосудная, чада свои защити...*

Голосок у юнца был сиплый и слабый, вчерашний служка то и дело останавливался прокашляться, перевести дух, но глаза поверх тканой повязки светились счастьем служения. Люди за ним шли бодро и радостно: накажи многогрешных, Мать... но не оставь! Да сбудется по воле твоей, по вечному завету между Матерью и детьми!

Жители Лобка покидали дворы, тянулись за благословением. Верешко тоже побежал навстречу молящимся. Вот сейчас богоречивый заглянет ему в глаза, возьмёт руку в ладони... скажет несколько слов... самых истинных и спасительных...

Может, удастся сберечь благодать, отца наделить?..

Не успел. Из переулка на Третьи Кнуты шагнул Люторад.

Под его взглядом Другоня осёкся. Умолк... вовсе остановился. Верные, тянувшиеся за юным жрецом, неволей скучились кругом обоих.

— Тебе кто дозволил? — сквозь зубы, с грозным нажимом прошипел Люторад.

— Богозарный брат... — только и выдавил Другоня, часто моргая. Сразу стало заметно, какой он на самом деле молоденький. Немоощный телом. Незрелый в служении. Оба опоясанные жрецы, но какое может быть равенство между вчерашним служкой и сыном святого?

— А что, Божьему человеку за дозволением бегать, прежде чем с людьми Матушке порадеть?

Говорил санник Вязила. Он всегда был важен и горд, а ныне особенно. В его ремесленных вершился спорый труд, полный страха и радости: лучшие делатели источили сани, чтобы царевичу Эрелису ехать на них в отеческий город. Такими, как Вязила, держатся храмовые общины, его на жертвенный пир поди не пусти.

Уличане зароптали, поддерживая Вязилу. Людям не нравится, когда песенный лад рушат за то, что головщик нелюбим.

Люторад, чуть заметно скрививший губы от наглого «брат», не пал до пререканий с мирянами.

— Лучше подумай, как правиться будешь, ночь по улицам бегавши, честной люд соблазнявши...

Другоня вдруг обрёл почву под ногами:

— Ты же и послал, богозарный.

— Я?

— Так в съезжую. Там, в блошнице...

Верешко наострил уши, одержимый дурным любопытством, замешенным на страхе и отвращении. В каморах расправы гостевали заходни и горожане, грешные городской Правде. В торговые дни над площадью исправно посвистывал кнут. Ждали поимки злодея, годного для торжественной казни, но пока достойных не попадалось. Это многих тревожило. Приезд царевича ощутимо близился... а чем встречать?

«Неужели?.. Кого, за что?..»

Увы, блошница и нынче пополнилась лишь буйными мочемордами. Таких казнить — курам на смех! Отрезвить в холодке да вытолкать взашей...

— Это их ты всю ночь на правый путь наставлял?

С каждым осуждающим словом Другоня как будто становился всё меньше.

— Нет, богозарный. Уличное дитя...